Как Костины родители смогли полюбить друг друга, трудно понять. Это — как если бы лань кроткая тигра хищного полюбила, а он бы покорно лег у ее ног, тоже влюбленный. Антон Дождиков, будущий Костин отец — двухметровый таежник со смоляной бородой, охотник, бродяга вольный, с характером твердым и норовистым. И не представить даже было, что кто-то сможет обуздать его такого. А на ту, которая все же нашлась, и не подумал бы никто, что сможет. Леночка Ломакина, одуванчик невесомый. В детстве ее так и называли — одуванчиком: беленькая, маленькая.

— Здравствуйте! — подойдет и пролепечет, словно ветерок летний рядом остановился.

— Здравствуй, милая!— отвечали добрые взрослые и гладили ее легонько по голове. — Ох, и тихая же, ох, и кроткая.

Девочка была из старообрядческой семьи. За десяток лет до ее рождения разные социальные службы совместными усилиями раскачали и выдрали из скрытого таежного угла настоящий вековой

скит. Старообрядцы Ломакины — четыре брата со стариками, с пожилыми родителями и семьями, переехали, остановились на сельской окраине. Поделили небогатое имущество, построили дома, и каждый повел свое хозяйство. Подчинились общим законам — куда от них в обществе. Но веру свою и порядки в тайге не оставили — жили закрыто, привычным укладом. Многодетные, в трудах бесконечных. И не от какого-то там желания спины не разгибать, а оттого что по-другому не напастись на такую ораву. На своем хозяйстве и ехали, спасались от безнадеги. Ребятишек растили без баловства, но и без особой нужды. Ну, есть желторотикам во всякой семье надобно, хоть старообрядческой, хоть обычной. Что всходы в поле: поливает дождь — поднимаются, крепнут, а из сухой земли худые былинки еле тянутся. Иного еще никто не придумал. А вот в воспитании малых своих имелась у Ломакиных особенность замечательная — не кричали они никогда на деток. И уютна была ребятишкам негромкая речь родительская, естественна, как молоко материнское, как свет в комнате. В тишине росли.

— Что же кричать? — считали взрослые Ломакины. — Крик, он пустой, а ребятам понять надобно, как и что.

Вот к примеру.

Дед Изот Ломакин сидел в сторонке на кряжистом березовом чурбаке для колки дров. В широких чембарах из полосатой тяжовины, с такой хорошей мотней, что свободно было бы высоко вскинуть ногу и оказаться на спине рослого скакуна. Но это в молодости. Теперь-то он и на чурбаке едва держался. Ноги дрожали от слабости и мерзли. Оттого даже в жаркий летний денек приходилось ему обуваться в мягкие войлочные чуни. Дедушка сидел и смотрел ласково на свою любимую правнучку Леночку, самую младшенькую. Она катала по лысой дорожке по центру двора розовый резиновый мяч. Потом увидела бабочку, большую, с коричнево-красными крыльями. Неуклюже, словно кувыркаясь, долетела бабочка до забора и опустилась там на высокую травину. Девочка забыла про мяч, забыла про все на свете. Встав на носочки, крадучись, пошла, пошла, пошла. Зачарованные синие глазки видели сейчас только черные кружочки, черточки, завитки — весь этот удивительно красивый узор на коричнево-красных крыльях. Бабочка то распахивала их, а то складывала в тоненькую пластинку.

Подкралась, замерла, и не дышит даже, только бы красота не улетела. Дождалась, когда крылышки сложились, и — цап их пальчиками, сжала.

— Внуча, — подсмотрел все дед Изот, — поди-ка сюды.

— Глянь, дедуня, — подбежала счастливая Леночка, — красота какая!

— Где же? — поднял косматые брови дедушка. — Не видать.

— Вот, — выставила вперед руку с бабочкой правнучка.

— Червячок какой-то с лапками. Чего ж красивого?

— Это же бабочка, а не червячок! Посмотри, какие крылышки красивые.

— А-а, бабочка… Так ты красоту-то в ручке спрятала, а мне червячка кажешь.

— А если я ее показывать тебе стану, она улетит.

— Так и хорошо. Красота и должна летать, чтоб всем видна была. А ежели кажный по одной красоте в кулак спрячет, то и не останется ее, исчезнет вся. Вот подержишь еще красоту в ручке, она и помрет скоро, красота-то.

— Как помрет? — обомлела в испуге девчушечка.

— А так и помрет. Пыльса на крыльях стерется от твоих пальчиков, а без ней — все, смерть.

Еще слова дедовы звучали, а пальчики уже разжались, и коричнево-красная бабочка с красивым черным узором снова полетела, словно кувыркаясь, над двором Ломакиных.

— От молодец, внуча! Так и хорошо. И тебе видать, и мене, и другие посмотрят.

— Она же еще не умрет? — просяще заглядывала в лицо дедушке внучка. — Дедунь, не умрет же еще?

— Да нет, нет, — щурился тот в ответ, — живая красота. Вишь, летит.

Подросла Леночка в отчей тишине, шагнула в открытый мир, а в нем шумно оказалось, крикливо. Полно ругани меж людьми. И не вышло у девочки заговорить с этим миром на одном языке. А выяснилось, наоборот, что если кричать на нее и ругаться, то впадает она в оцепенение, в оторопь, и немота надолго сдавливает голос. В ребячьих-то ссорах — ерунда, мимолетно. Но с годами, в старших классах, очень это заметно стало. Пришлось

братьям-крепышам оберегать сестренку от разных оболтусов. Насмешники быстро уяснили, что запросто можно по свистку получить, и шутить перестали. Ну, а взрослым и самим не по себе становилось от такой-то оторопи.

Антоха Дождиков через свою грубость с Леной познакомился. Она уже после учебы из города вернулась, в библиотеке при клубе работала. А ему в тот год напасть за напастью: отец как-то сразу и серьезно слег, крыша под сильным дождем потекла. Что совсем уж непонятно, удача в охоте не шла. То рано, то мимо, то другой обошел. «Это его-то?!»— покалывало самолюбие. Так Антон — мужик без злобы, невинного не трогал. Но когда не в духе, мог мимоходом плечом толпу раздвинуть.

Летним днем вывалился он из таежных сумерек на дорожный просвет, протопал кирзачами до сельпо. Хмурый, на встречные «Здорова были!» только кивал еле заметно.

— Теть Зин,— с ходу подвинул боком покупателей в магазине,— дай ржаного буханку.

— Че ж толкашься, медведяка?! — возмутилась крупнотелая бабуля Латкина.

— Не шуми, уйду щас, — не оборачиваясь, буркнул охотник.

— Как не стыдно вам? — где-то за правым плечом мягко пропела флейта.

«Кто там так нежно ругается?» — повернулся на девичий голос.

Дикие фиалки пронзительно синие возмущенно смотрели на него. Но не успел Антон разглядеть это возмущение, а оно уже словно испугом подернулось. Словно фиалки замерли, оцепенели в страхе перед гибельной непогодой.

— Ленк, ты чего? — заметила перемены в лице девушки бабуля Латкина. — А ну, не заходись, не обижат никто. А ты, дурень здоровый, лазишь тут, как по чащобе своей.

Лену на этот раз быстро отпустило, а Антона-то схватило, наоборот — зашлось сердце, да так, что без фиалок синих дышать ему трудно стало. И ни тайга не нужна, ни крыша худая. Матушка ворчит: «С каких пор в лодыри записался? Отец-то сам не наладит уже». А ему все равно, все дорожки повернули к дому Ломакиных, вслед за сердцем и мысли все там. И грубости заметно

убавилось в таежнике. Не поймешь теперь, то ли медведь, то ли телок неловкий. Какая тут грубость останется, когда одна мечта — чтобы девушка улыбалась, ему улыбалась.

И улыбнулась Лена, добился-таки. От взаимности, от счастья огромного светом солнечным душа дремучая наполнилась. Словно крылья могучие мужик раскинул — летит. За месяц с небольшим не только крышу починил, а и с отдельным входом пристройку к отцовскому дому поставил. Все как надо складывалось: благословение родительское, свадьба. И зажили в пристройке. И сыночек родился. Костей назвали.

Антон так оберегал жену, что никто и приблизиться к их дому не смел с какой-нибудь неприятностью. А вот в доме родильном огорошили: «Детей больше,— сказали,— лучше не зачинать. Организм у Лены слабый, не справится». И остался у них Костя единственным ребенком.

Лицом, тонкой костью, а главное — характером сынок в мамку пошел. Глаза — те же дикие синие фиалки. И тревога в них та же, словно боятся они подступающей непогоды. От отца взял Костя высокий рост. Вытянулся, как побег тальниковый, длинный, но узкоплечий.

«Ниче, — тешил себя Антон, — придет время — нарастет мясо. Наберет крепости».

И для закалки часто брал с собой паренька в тайгу.

— Возьми-ка, сына, мелкан. Айда со мной.

Видно, в родителя был Костя еще и в стрельбе меток.

— Давай-ка, сынка, с издаля, — накидает на пенек еловых шишек отец. Сын отойдет далеко-далеко и оттуда их все без промаха перещелкает. — О, добре.

Вот Косте уже шестнадцать. А плечи шире не стали. И руки крепости не набрали. Что усилилось, так это тревога в синих глазах. Страх — не страх, а растерянность и душевный неуют все настойчивее одолевали парня на людях. Все чаще хотелось укрыться от всех за домашними стенами или уйти с ружьем в тайгу.

— Эх-х, — вздыхал Антон, и жалость крапивой жгла сердце. Жалел теперь и сына, как всегда жалел жену.

И еще одно казалось очень досадным здоровенному мужику: называл его Костя батюшкой.

— Да, что ж ты меня, как попа в церкви? Батя я, а не батюшка.

А тот свое — батюшка да батюшка. Не учил этому никто специально. Жили семьей отдельно, Ленины старики своих уставов не насаждали, Дождиковы дед с бабкой — тоже не дальше обычного. Но перешло вот от кого-то.

Однажды на охоте Костя спросил:

— Батюшка, а как понимать: «Если ударили тебя по правой щеке, подставь левую»?

— Так…это… — встал на месте Антон, как тяжеловоз от непосильного груза. — Ну…так… О, слышь, дятел лупит, — поднял он вверх указательный палец. — А кто это тебя про щеки надоумил?

— Так Бог учит.

— А-а…ну, это понятное дело…это же как…это же только перед Богом так надо. Вот тебе прилетело справа, а ты как бы говоришь, что не сердишься на него, на Бога-то. Испытание, мол, выдержал и дальше к испытаниям готов. Вот тебе, Бог, как бы для этого, левая щека. А так-то ты щеки старайся не подставлять, нашлепают по ушам и справа, и слева. Если так подставлять, то и Гитлер бы в Москве сидел. Не-е, это для Бога только — щеки подставлять.

Времена изменились. Библиотека при клубе закрылась, и все чаще встречались люди, уверенные, что им можно все.

Лена устроилась дояркой. Другой работы не было. На ферму и обратно ходила с соседками, пообвыклась. В тот июньский вечер она возвращалась после второй дойки. Домов за десять до своего попрощалась с последней попутчицей. Вдруг сзади надсадно затрещал, приближаясь, какой-то движок. Женщина обернулась. По их земляной накатанной улице мотоцикл с люлькой пер на себе двух пузатых, голых по пояс мужиков. Впереди мотоцикла драпали со всех своих лап и ног собака, телок и свинья. У свиньи одно ухо было снесено до самой головы. И загривок ее, и шея багровели от запекшейся крови.

— Стой, шашлык! — орал тот, что в люльке, и целился из ружья в ошалевшую чушку. — Пошла вон с дороги! — гаркнул он на Лену, когда мотоцикл протарахтел рядом с ней. И перед лицом ее из ружейного ствола с гарью и искрами грохнул выстрел. Она вскрикнула высоко, а хриплые глотки заржали и загикали, продолжая погоню.

— Анчихристы! — горестно покачал головой сидевший неподалеку на лавочке дедушка Федотов. — Пьянчуги беспутныи!

И отвернулся от них, глянул на Антонову жену. А та замерла у забора с меловым лицом.

— Ленусь! — оперся на костыль и заспешил к ней дедушка. — Никак, зашлась…ну-ка, глянь на меня…

Но Лена смотрела мимо остановившимся взглядом, и немота, словно плотно прижатая к губам чужая ладонь, задавила ей голос.

— Ступай-ка до дому, золотко, — потянул ее за руку старичок.

Она пошла короткими шажками, подчиняясь чужой воле. Улыбка ли растерянная или застывший крик очертили ей губы и заполнили взгляд.

— Ох! — всплеснула руками матушка Антона, увидев Лену.

— Вот,— часто заморгал в ответ дедушка Федотов, — приключилось…

Самого Антона не было. Он взялся за небольшие деньги выкопать дальним родственникам на другом конце деревни погреб кувшином. Костя, конечно, с ним. Расстарались за два дня, вот и задерживались. Но уже должны были подойти.

— Я им кричу: «Анчихристы!», а им и дела нет… — рассказывал старик.

— Антоша щас вернется, — горевала свекровь, — ох, большая беда будет.

И работники скоро вернулись. Голодные и довольные, что за два дня осилили глубоченный погреб.

— Ленушка! — стоном вырвалось у мужика, и горький огонь беды из горла растекся по всей груди. — Не уберег…Кто же тебя так?

Дикие фиалки в ответ словно трепетали. Словно ветер менял в них что-то каждую секунду, как меняет узор в детском калейдоскопе малейшее прикосновение.

— Гунькины это, братовья. Борька, главно, рулит на отцовом мотоцикле, а Генка в люльке с ружья бахает. Я им «Анчихристы! Водошники беспутныи…»

Братья Гунькины имели в городе бизнес: они умели купить где-то дешево водку, а потом продать ее дороже. Это давало им много денег, и бизнесмены жировали. Сейчас братья пожаловали

в родную деревеньку погулять. В их головах и сомнений никаких не было, что чего-то делать нельзя. Конечно, можно все!

— Антоша, не ходи! — едва успела сказать мать, но Антон уже был на улице. Ничего не слышал, ничего не видел. До дома Гунькиных ходьбы минут десять. Пролетел — не заметил, перед глазами только трепещущие дикие фиалки.

Посреди двора за столом восседали пузатые братья. Ружье при них, сбоку от тарелок. В сторонке местный мужичок по прозвищу Пескарь выглаживал паяльной лампой свиную тушу.

— Куда прешь, Антоха?! — почуял неладное и взревел Генка.— Стой, падла, пристрелю!

Но ствол промолчал. Забыл стрелок, что патроны все на свинью потратил. Антон шел, как шел, не моргнул даже. Вывернул ружье из пухлых напрягшихся рук и ударил прикладом по пьяной, еще орущей что-то голове. Генка замолчал и упал на землю. А брат его Борька опрокинулся со скамейки, подскочил и боком-боком в огород. Там и спасся.

Пролежав неделю в коме, Генка умер. Антона осудили на восемь лет. Надежная отцовская спина, за которую Костя всегда прятался, враз исчезла. И улица тут же задиристо и с ехидным прищуром спросила: «Ты че такой узкоплечий, дохляк?» Сильных аргументов, чтобы ответить на этот вопрос, у парня не было. И заметалась его душа, заметалась, ища укрытия.

Мамку врачи месяц продержали в больнице, а потом развели руками и выписали домой: «Время нужно, время, чтобы в себя пришла». Она никого не узнавала и подчинялась тому, кто брал ее за руку. Ухаживали за ней Костины бабки. Остальная родня или пропадала в тайге, или моталась в город на заработки. В деревне с деньгами было совсем худо.

Привычная таежная глушь, вчера еще служившая самым уютным убежищем, теперь, без отца, стала вдруг чужой, словно и незнакомой. От мыслей о городе Костя и вовсе шарахался так, как бежал бы от края пропасти очень боящийся высоты человек. Помогал кое в чем вечно занятым чем-нибудь своим бабушкам, а больше без дела слонялся по двору или сидел у окна и смотрел в небо. И скоро память зачем-то вытащила из своего самого неподвижного угла весточку о Светлом Логе —

место такое, километрах в десяти от их деревни. Там тайга отступает немного, и на травянистых склонах чуть прикрытый белоствольной березовой рябью словно прилег и засмотрелся на низину скит православного мужского монастыря. Постройки все деревянные, забором обнесены. Раз вспомнился скит, через пару дней — еще раз, а потом стал думкой постоянной: «Уйду туда, там за оградой спокойно». А неделю спустя и заявил:

— Я в монастырь пойду, в Светлый Лог.

— К щепотникам собрался?! — сузила глаза до холодной стали во взгляде бабушка Ломакина, мамина мама.

А он все равно ушел, держать-то особо некому. Чтобы не прознал никто, до рассвета отправился, пешком. В куртке для охоты, в сапогах кирзовых. Взял хлеба, сала и воды. И ружье прихватил. Не свой мелкан, а карабин отцовский, с пятипатронным магазином. Пуля — волка с лап опрокинет, не шутка. Оно понятно, десять верст по краю тайги, по такой глухомани, что зааукайся — не отзовется. Тут и смелый от оружия не откажется, а уж Костюшке сам бог подсказал. Еще разница: другой в первую очередь зверя бы таежного поостерегся, медведя там или волка, а этот про них и не подумал. Одно на уме — человека дурного не встретить. Вот, не дай бог, встретится, что тогда делать?

Но добрался Костя, дотопал без злоключений, так с карабином и заявился. У ворот встретили, расспросили, пообещали настоятелю доложить. Присел он на скамеечку под навесом, у святого источника. Однако не засиделся, подошел к нему скоро прихрамывающий, сухощавый монах, позвал отобедать с ними. Свое парень сжевал давно за дальнюю дорогу, потому зашагал вслед за монахом охотно.

Сентябрьский денек теплый, солнечный, синий воздух в кайме позолоты. Трапеза у монастырских людей на улице. На столбики крыша крепко поставлена, а под ней невероятной длины стол единый с лавками.

«Здесь мне хорошо будет, — ел кашу и осматривался Костя.— Здороваются все с поклоном, и никто не спросит, почему я узкоплечий».

Вскоре после обеда тот же сухощавый монах повел его к настоятелю.

— Ружье отдай мне пока. Потом заберешь.

Вдоль длинной дорожки — березки в покорной осенней дреме. За ними своим порядком стоят дома из бруса, такие ладные, словно картинки. Над крышами возвышается синей маковкой с деревянным крестом церковь. Прошли ее и свернули к домику, сросшемуся одной стеной с храмом.

— Входи сюда, тебя ждут, — указал монах на дверь.— Как войдешь, поклонись со словами «Благословите, батюшка!», — развернулся и понес прочь отцовский карабин.

Костя вошел. За дверью оказался маленький темноватый коридорчик. А в лицо смотрел открытый светлый проем.

«Туда, наверное», — подумал и шагнул навстречу свету.

Целых четыре большущих окна для совсем небольшой комнаты! Словно вся стена из стекла. И как будто день, белый и тихий, с улицы смог весь, целиком влиться сюда, заполнить каждый уголок. И белый свет этот любовался иконами, книгами на полках, большим письменным столом. Любовался и обнимал их. У стола стоял невысокий, щуплый старичок в черной рясе. Седые волосы его были собраны сзади в короткий пучок.

— Благословите, батюшка! — дрогнувшим голосом произнес Костя и поклонился, как учил монах.

— Бог благословит! — перекрестил его настоятель. — Назови мне имя свое.

— Костя я, батюшка, Костя Дождиков.

— Сказали мне, отец твой осужден за убийство.

— Он не хотел убивать. Только за мамку стукнул, а тот потом сам умер.

— Пройди, присядь. А зачем же ты с ружьем к нам пожаловал?

— Страшно мне, батюшка, идти было по дороге сюда, — опустился Костя на предложенный стул. — И дома страшно. Как увижу кого недоброго, так в груди трястись начинает.

— И решил ты со всеми недобрыми разговаривать пулями? — пододвинул поближе для разговора свой стул священник. — А как патроны закончатся, что тогда скажешь?

— Не знаю, батюшка. Слабый я, нет в руках силы.

— Мое тело твоего меньше, а я с тобой словом говорю. Духом ты слаб, вот и страшно тебе. И в обитель пришел не Богу послужить, а от мира спрятаться.

— Не гоните меня, батюшка, — снова дрогнул Костин голос, — не могу я с этим страхом справиться.

— Не гоню и не виню, сын мой. Но скажи, сколько лет тебе?

— Семнадцать уже, восемнадцать скоро.

— Вот и я смотрю, в армию призовешься. С жизнью мирской связан ты накрепко, там все дела твои. Оставайся пока, по желанию своему и по воле Божьей, поживи с нами.

Проживать Костю определили в сторожку. В ней, помимо комнаты, имелись разные кладовки, заполненные метлами, лопатами, плотницко-столярным инструментом и другой обычной хозяйственной надобностью. Илья, много лет служивший монастырским сторожем, управлялся с этим легко и толково. Был он сложения такого могучего, что впрямь виделся былинным Муромцем.

— Располагайся, — добродушно кивнул богатырь худому пареньку, когда того привели на постой. — Со мной будешь, по хозяйству. Коровушек с завтрева поводишь, покуда травка на полянах да на лугах у речки есть.

Костя со следующего дня стал пасти коров.

— Далеко не заходите, — поучал Илья. — Тут, по краю, чтоб зверя не встретить. Шумни, если что.

— Так вы карабин-то мне дайте мой.

— Не надобен он тебе. Говорю же, не глупи, не заходите далеко. И Бог оградит. Иди, береги коровок.

Крепко зацепили нового пастуха эти слова. «…Береги коровок…»

— Не простудись, — всегда беспокоились за него бабушки.

— Не споткнись, — остерегал отец.

— Береги себя, — с болью смотрела мама.

А тут ему надо беречь кого-то. И он старался. Во все глаза смотрел, не торчит ли где из кустов звериная морда. И не замечал в эти минуты, что за себя совсем не боится. Не замечал, как временами проходит стороной и наблюдает за ним с прищуристой улыбкой Муромец.

Еще узнал Костя, что работает Илья бесплатно.

— Вам нравится здесь, и вы, поэтому, без денег работаете? А почему монахом не станете?

— Нравится, паря, нравится. Ты одну дорогу до обители прошел, а я их столько намерил — заблудиться можно. Бродил мыкой неприкаянной, точно в потемках. А пришел сюда и благодать встретил. И понял тут же, что оберегать ее должен. Радость мне от этого большая, и не надо боле ничего. Тут мое место, и в том дело мое.

Еще сильно была заметна Косте разница в пище. Дома-то и лосятина вяленая, подкопченная. И та бабушкина каша с маслом и мясом, про которую отец говорил: «Чего ее ложкой носить? Взял бы с ней горшок и поставил целиком в пузо». Монастырский стол не сравнится, нет в нем привычной мясной обильности. А парень так себе размышлял, что для силы рук и есть нужно сильно. Ну, и высказал свои соображения настоятелю.

— Учи тело свое духу подчиняться. В искушениях ослабнешь. Будешь духом слаб, и руки сильные не помогут, хоть какую ты пищу прими. Духом силен человек, духом! — ответил батюшка.

— У тела — гузка, у духа — крылья, — добавил богатырь.

И пошел Костя с новым знанием дальше коров пасти. Деньки стояли соломенные — желтые, тонкие, теплые. Это лето смешливое попросило у осени ее первый сарафан и решило на прощание повертеться перед зеркалом. Пролетела еще неделя. Странно, что если сначала мама совсем не вспоминалась, то теперь приходила в памяти каждый день.

«Как она сейчас? Узнает ли его, когда увидит? Вот отец говорил, что не надо другую щеку подставлять, а сам в тюрьму за это сел. Лучше бы и не бил никого».

Думал Костя молча, только настоятель откуда-то все знал, словно в душу его заглядывал.

— Не хочешь ли ты, милый, матушку свою проведать?

— Хочу, батюшка.

— Так ступай. И ружье унеси домой, не место ему тут. Тебя Бог хранит.

— Еще хочу спросить, батюшка, почему человек должен подставить левую щеку, когда его по правой ударят?

— Вот вернешься, тогда и поговорим без спешки. А сейчас ты поторопись. Знаю, ждет тебя матушка.

— А дайте мне одежду монашескую, чтобы все видели, что меня Бог хранит.

— Веруй, сын мой, в помощь Божью, сердцем ее знай, — перекрестил пастушка настоятель и положил ладонь на его склоненную голову.

Ранним утром, как две недели назад из дома, отправился Костя обратно. Те же кирзовые сапоги, тот же карабин с пятью патронами. Но вместо куртки теперь черный подрясник до пят и с наглухо застегнутым воротом покрывал его тонкое тело.

«Вот бы кто увидел меня, — шел он и думал о себе в новой одежде. — Сразу бы понял, что я уже другой. Мне и недобрый человек не страшен».

Но пустынной стояла их глухая сторона, пропитанная тихим лучистым солнцем. Только сороки да бурундуки на крайних таежных стволах. Так и прошел в одиночестве почти всю дорогу. Вон последний взгорок, за которым пологий косогор потянется к родной деревенской луговине. Поднялся, спускаться начал — шаг, еще шаг…

«О, джип какой-то у стожка… Здоровенный! Дорогущий! Не нашинский, чужой. На земле кто-то барахтается…»

Костя присмотрелся. Рядом с большими колесами, сверкающими литыми дисками, два парня повалили на разворошенное сено девушку. Один держал ей руки и зажимал ладонью рот, а второй стягивал с нее джинсы. Потертые штанишки, видно, были тесными, к тому же девчонка изо всех сил пыталась вырваться — расстегнутый пояс застрял на бедрах и никак не спускался ниже. Тот насильник, что зажимал рот, чуть ослабил ладонь, и девушка тут же вцепилась в нее зубами. Так маленький травоядный зверек в момент отчаяния обязательно укусит напавшего сильного хищника.

— Ай! Тварь, я тебя отучу кусаться, шмара деревенская!

Бедняжка успела крикнуть: «Помогите!» Укушенный кулак злобно и увесисто ударил ее по лицу. Она обмякла и перестала сопротивляться. Эти двое могли теперь без препятствий доделать свое дело, но из-за машины появился Костя.

Сначала, на взгорке, хотел удрать, свернуть в лес и обойти стороной злополучное место. В груди затряслось, руки-ноги в секунду онемели. Как еще удержался, не осел ватным тюфяком на дорогу. И про то, что Бог охраняет, в тот миг даже не вспомнил. Все уже, навострился, однако услышал в последний момент задыхающееся, рвущееся «Помогите!». И узнал по голосу — это же Катюха кричит, одноклассница его, Катя Пестрикова. Даже лицо сразу представил, детское такое, щекастенькое, с веснушками. А по этому лицу кулаком…

Храбрость не наполнила Костино сердце. Продолжала трепетать душа, немели ватные ноги, но почему-то пошагал он не в лес, а к машине. Джип заслонял от насильников, да и сами они совсем не смотрели по сторонам. Поэтому подойти незамеченным удалось близко, метров десять осталось до стожка. Трясущимися руками снял с плеча карабин, машинально отправил патрон в патронник.

— Опа… — первым увидел его тот, который стаскивал джинсы, — поп с ружьем…

— Какой поп? — обернулся второй. — Епт..! Ты откуда взялся, монах?

— Не надо… — только и мог бормотать Костя. И карабин ходуном ходил и готов был выпрыгнуть из заледеневших ладоней. — Не надо…

Эти двое, взрослые, крепкие, отпустили девушку и встали перед направленным на них стволом. Катерина поднялась, пошатываясь, и принялась натягивать обратно свои спущенные штаны. Струхнувшие поначалу удалые молодцы быстро разглядели, что монах трясется от страха, что оружие он едва удерживает, и силы-то в этой узкоплечей жердине никакой нет.

— Ты, попик, шел бы дальше, — криво усмехнулся ближний. — У тебя своя охота, у нас своя. Мы же тебя не звали грехи нам отпускать, — сказал и сделал навстречу пару пробных коротких шагов.

— А тебе же нельзя стрелять, — уставился ледяными, почти бесцветными глазами дальний, стоявший рядом с Катей, — тебе же Бог не велит. Нельзя же злом на зло! Ты че, забыл, попяра?!

Он схватил еще толком не пришедшую в себя девушку за рас-

пущенные русые волосы, притянул ее к себе и двинулся прямо на ствол.

— Ну, давай, монах, стреляй! Че, Боженька не разрешает?!

— Ай! Ай, больно! — причитала Катерина и переставляла заплетающиеся ноги.

Может быть, сработал охотничий навык, набранный в таежных походах с отцом. Может, неудержимый страх за себя перерос в страх за несчастную одноклассницу. Сработало что-то — руки перестали трястись, и приклад плотно уперся в плечо. И целился Костя так, как целился бы в зверя-людоеда. Через секунду прозвучал выстрел. Пуля пробила насильнику руку повыше локтя. Он вскрикнул, отпустил Катю, сжался, упал на колени. Второй бросился к нему, помог подняться, повел к машине.

— Не монах ты, — повернулся снова, когда раненый взобрался на сиденье, — мужик простой. А слабо без ружья со мной побиться? Или зассышь?

Костя чувствовал, как вопросительно смотрит спрятавшаяся за него девушка. Только сейчас он вспомнил, во что одет, что Бог охраняет его. Постоял и молча положил карабин на землю.

— Ну-ну, — криво усмехнулся в ответ тот, у машины. — Встретимся еще.

Сел за руль, и здоровенный дорогущий джип, сверкая черными боками, понесся прочь от деревни. Никто больше не держал Костю и Катерину, не мешал им отправиться домой. Они шли и разговаривали с суетливой детской бойкостью. Так ребятишки обсуждают свои важные события: «Я как дал…» — «Тот как пнул…» — «Этот как побежал…».

— Я за опятами ходила, — показывала девушка поднятую с земли пустую корзину. — Тетка сказала, поздний слой пошел, а я пролазила и не нашла их. Обратно повернула, а тут эти.

— Чужие. Мимо, скорей всего, гнали.

— А ты откуда в такой одежде?

— Из монастыря, — парень поправил карабин на плече, — в монастыре был.

— А че эти говорили, что тебе Бог стрелять не велит?

— Мне мой батюшка сказал, что надо стрелять, а другой ничего пока не сказал.

Так проболтали до деревни.

— Я и не знала, что ты такой сильный, — заглянула Катя в синие Костины глаза, когда стояли они лицом к лицу у ее калитки. — Ты понравился мне очень.

И пошел он дальше окрыленный, плечи расправил. Дома во дворе хлопотали обе бабушки.

— Ох! Вот, значит, как вырядился теперь! — строго посмотрела одна.

— Здравствуй, сердынько! Слава Богу, жив-здоров! — вся засветилась улыбкой другая. — Иди-ка к мамке скорей. Узнавать она лица стала, тебя все спрашивает.

— Здравствуйте, бабули! — расцеловал обеих Костя. Повесил в сенях на загнутый гвоздь карабин, прошел к маме в комнату.

Она сидела на кровати. Взглянула — и сразу узнала его.

— Сыночек, Костенька! — протянула к нему руки.

— Мама… — опустился он перед ней на колени.

— Где же ты был так долго?

— Я в монастырь в Светлый Лог ходил.

— Зачем?

— Укрыться хотел там от улицы.

— И укрыла тебя обитель?

— Не знаю, матушка.

— Помоги мне, сынок, подняться. Я к солнышку хочу выйти.

— Пойдем, мама, — подхватил ее Костя под руки.

Они вышли на крыльцо. Лена посмотрела на небо, на солнце — синие дикие фиалки улыбнулись оранжевой полуденной неге. Над двором летела неуклюже, словно кувыркаясь, коричнево-красная бабочка с красивым черным узором.

— Смотри, сына, красота летит!

— Вижу, матушка, вижу. Летит красота!